Виктор Пелевин

\* \* \*

Виктор Пелевин

Ухряб

1

— Ты мне умно не говори, — сказал Василий Маралов, идеологический работник на пенсии. — Я сам умный, три книги написал. Проще надо. Вот у тебя что на руке? Часы, да?

Собеседник — друг и в некотором роде ученик — утвердительно икнул.

— Ну вот и поразмысли. Тут — своя диалектика. Носишь ты их, носишь, они у тебя тикают, тикают …

— А при чем тут научный атеизм, Вася? Мы ж с тобой о научном ате…

— Ты дослушай. Они тикают, тикают и вдруг — бац! Ударились о раковину.

— Почему о раковину?

— Это со мной случай был, еще до пенсии, в Сестрорецке. Я там…

— Ладно, неважно… Ну, ударились, и что дальше?

— А дальше у одного маленького колесика зубчик сломался. А все другие стали недоворачиваться. И часы тебе вместо пятницы возьмут и покажут какой-нибудь вторник. Вот так и человек… Эй, Петь!

Собеседник уже спал, прижавшись ухом к бежевой клеенке.

— Петь, — сказал Маралов и потряс его за плечо. — Слышь, Петь… Пойдем, на диванчик ляжешь.

2

Маралов проснулся, подвигал ногой, запутавшейся не то в сбившемся пододеяльнике, не то в не до конца снятых штанах, и хмуро, привычно выглянул из тающего ночного мира в залитую серым светом комнату. По его пробуждающемуся мозгу медленно, как дождевые черви, ползли первые утренние мысли — они касались окружающего беспорядка. Тот действительно был ужасен: в комнате царил такой хаос, что в нем даже угадывалась своя гармония — длинная лужа на полу как бы уравновешивалась вдавленным в кусок колбасы окурком, а сбитый с ног стул вносил в композицию что-то военное.

Несколько раз быстро шагнув в пустоте и полностью избавясь от штанов (ремень все-таки, как змея, цапнул холодной пряжкой за ногу), Маралов, как обычно, принялся наводить внутренний порядок. Что-то похожее на вкус во рту явственно ощущалось и в душе и было, кажется, связано со вчерашним разговором, хотя его содержание, тема и даже примерная траектория совершенно не желали вспоминаться. Словно бы что-то застряло в мозгу, обособившись от всего остального, и теперь ощущалось, как плотная масса посреди знакомых мыслей — холодная, бесформенная и угрожающая.

«Вспомнить надо, — думал Маралов, — о чем-то мы таком… О часах, что ли? Да нет, о часах — это помню. Это мы с атеизма перешли. А вот потом, когда он на диванчик лег. Час, наверно, бредил… И вот тогда я чего-то такое… Нет, не помню».

Открывая глаза, Маралов видел вокруг себя загаженную комнату, закрывая — замечал в себе присутствие глубокой внутренней ямы, где скрывалось что-то опасное. Так продолжалось довольно долго. Маралов не то чтоб не мог вспомнить, в чем было дело, а скорее не мог себя заставить сделать это, как никогда не мог себя заставить сразу нырнуть в холодную воду. Получилось все автоматически — в квартире наверху заскрежетали чем-то по полу, тотчас же Маралов дал себе команду все вспомнить — и вспомнил.

— Ухряб, — громко сказал он.

Вчера успели еще поговорить о Боге. Оказалось, верят в него оба, но каждый по-своему. Петя признался, что на каждое партсобрание берет с собой высушенное волчье ухо, а в особо серьезных случаях три раза обходит клумбу во дворе, отчего получает небывалый заряд бодрости и мужества.

Маралов хотел было рассказать о том, что он когда-то видел в Сестрорецке, но совершенно неожиданно для себя начал говорить обобщениями: что никакого единого Бога нет, просто в каждой стране у людей существует какое-то главное чувство по поводу жизни, что ли, и если выразить это чувство в виде сказки или истории, то как раз и получится конкретное священное писание и каждый конкретный, отдельно взятый Бог.

— Бог, — умильно сказал Маралов, — это как бы персонифицированное обобщение всего непонятного.

— Чего ж, — помолчав, сказал тогда Петя с диванчика, — у нас за эти семьдесят лет столько непонятного набралось, что тоже можно обобщить. Выходит, и Бог такой есть, который этому соответствует?

— Конечно, — сказал Маралов, — объективно должен быть.

— И соответствующая религиозная мистика тоже?

— А почему нет. Легко.

На этом разговор сам собой затих. Маралов долго ворочался, вздыхал и все думал об этом интересном предмете, пытаясь представить себе соответствующего Бога. Только вдуматься: огромные портреты над городами и синие елочки, торжественные заседания и могилы в стенах, бронзовые бюсты и салют — не просто ведь все это так. Этому, так сказать, материальному, — размышлял Маралов, — неизбежно должно соответствовать что-то духовное, сущностное… Это и будет данный конкретный Бог — нечто, неявно вмещающее в себя остальное… Маралов незаметно уснул. Потом проснулся и засуетился Петя — он уже опаздывал на актив в другом конце города. Проводив его до дверей, Маралов пошел обратно, и тут, в мутном утреннем полусне, когда он, сидя на кровати, стаскивал брюки, его настигло невероятно ясное понимание — такое, что, испытав его, он даже не стал окончательно раздеваться, а оглушенно повалился на простыни и воспользовался пьяной способностью мгновенно засыпать. Прошло несколько часов тяжелого сна, во время которого это понимание не рассосалось, а наоборот, как пущенный с откоса снежный ком, обросло рыхлым коконом страха и безнадежности.

— Ухряб! — вдруг сказал Маралов. Ну да, все дело в этом слове — именно оно родилось из утренней вспышки ясности, и именно оно было сейчас в центре темного внутреннего образования.

«А это значит — „ухряб“? — подумал Маралов, с гримасой боли поворачиваясь к стене. — Ухряб. Ничего не значит».

3

Порядок был наведен и похмелье прошло. Маралов вглядывался в зеркало, зачесывая поперек головы длинную пегую прядь и думая, что так причесываться, в сущности, крайне нелепо — мало того, что все видят его плешивость, так все еще видят и то, каким жалким способом он пытается ее скрыть. Шевеление в душе вроде притихло и только иногда напоминало о себе этим бессмысленным словом, выбрасывая его внезапно на поверхность. Поправив галстук (пиджак и галстук он надел, чтобы защититься от этой непонятной внутренней западни), Маралов пошел на кухню.

Пройдя по коридору, он вдруг схватился за грудь и прислонился к дверце стенного шкафа — квартира резко качнулась, некоторое время продержалась в наклоненном состоянии и медленно вернулась в обычное положение. Маралов твердо знал, что каким-то образом только что происшедшее было связано с ухрябом.

— Что ж это такое, а? — вслух спросил он.

— Ух-ряб-зз… — Ух-ряб-зз… — пробило на стене.

Убедившись, что пол больше не качается, Маралов решил повременить с обедом и часик-другой почитать что-нибудь художественно-приключенческое. Он прошел в комнату, наугад взял из шкафа серенькую, с кружком на корешке, книгу и открыл ее, как это обычно делал, на странице своего возраста — шестьдесят восьмой. (Перед этим Маралов посмотрел, сколько еще осталось жить, и увидел: двести двадцать восемь. Стало спокойно.)

«…вкручиваясь в раскаленный воздух. Рябая гладь …»

Маралов хмыкнул. Как это так — рябая гладь?

Он снова пробежал глазами по строке — и вдруг всем своим пытающимся расслабиться существом налетел на ухряб, разделенный точкой.

«К черту, — подумал Маралов. — Надо читать классиков». Он встал с дивана, вернулся к шкафу и выбрал другую книгу, с золотыми полосками на корешке.

«…вот-с, умял двух рябчиков, да еще…»

Маралов театрально засмеялся и сделал руками жест веселого недоумения, тоже очень театральный.

— Привяжется какая-нибудь чушь, — громко сказал он книжному шкафу, — так человек и с ума может сойти. Если, конечно, слаб духом.

4

Не раз еще в тот день Маралов остро ощутил враждебность судьбы.

Удивительная мерзость произошла в кинотеатре — казалось, уж там-то вовсе неоткуда было взяться ухрябу — и на тебе: на стене — картина, на картине — рябина, а по бокам два подсолнуха. Так что справа ли налево, слева ли направо — ухряб сидел в засаде и недобрым глазом смотрел на Маралова. И как замаскировался! Не будь Маралов начеку…

Выйдя из кинотеатра на улицу, Маралов прошел полсотни метров и оказался у магазина. «Надо бы мяса купить, — подумал он, — наделать котлет на праздники». Войдя в мясной отдел, он увидел мужчину в белом колпаке, который, коротко поглядев ему в глаза, поднял большой, спортивного вида, топор.

— У! — выдохнул он.

— Хряб! — вонзился топор в доску. И голая, мертвая нога — быка, что ли, разделилась надвое. Зажав рот, Маралов выскочил на улицу и быстро пошел к остановке. По дороге он заметил, как на другой стороне улицы несколько солдат-стройбатовцев в серых ордынских подшлемниках крепят на стене дома большущий плакат. На плакате была нарисована девушка в кокошнике, с детскими глазами и развитой грудью, ее выпяченное правое бедро огибала надпись:

УСПЕХА УЧАСТНИКАМ

XI МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ЗА РАЗОРУЖЕНИЕ

И ЯДЕРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ!

И хоть Маралов и не заметил во всем этом никакого ухряба, все равно у него осталось четкое чувство, что тот присутствует и на плакате, и в этих солдатах, и даже в этом октябрьском небце над головой.

Надвинув поглубже шляпу и отворачиваясь от ветра, он засеменил домой.

5

За последние два дня ухряб из маленькой щелочки внутри превратился в бездонную и безграничную пропасть, над которой Маралов висел, цепляясь за крохи уже не здравого смысла или, скажем, разума, — а просто некоторой остаточной неухрябности. То, что ухряб глядел отовсюду, уже не удивляло — удивляло скорее то, что внутри еще оставалось что-то другое. Маралов пробовал размышлять, почему ухряб не был заметен раньше, — и быстро нашел ответ. Все вокруг, без сомнения, было точно так же пронизано и наполнено ухрябом — и два дня, и пять лет назад, задолго до прозрения. Но тогда ухряб не мог попасть ему в душу, а раз его там не было, не замечался и внешний ухряб, такой безмерный и грандиозный.

«Ведь заметить, — думал Маралов, — понять что-то про окружающий конкретный мир или про другого конкретного человека можно только одним способом — увидев в нем что-то, что уже есть у тебя внутри…»

До своего сна, до того, как это что-то, мелькнув сначала неясной точкой где-то на периферии души, вдруг с ужасающей скоростью понеслось с самому центру личности и лопнуло там, превратившись в ухряб и осветив внутренний мир Маралова тусклым красным мерцанием, — до этого сна Маралов видел воздух как воздух, асфальт как асфальт и так далее, теперь же оказалось, что все вокруг — просто форма, в которой временно застыл ухряб, — так же, как бронза остается той же бронзой, отливаясь и в солдатика, и в крестик, и в памятник Кирову. Итак, огромный, безмерный ухряб, а в центре — просвеченный ухрябом Маралов, осознающий, что самое главное для него — удержаться от понимания того, что и он, в сущности, тоже ухряб.

«Сколько ж я так протяну-то?» — с тоской подумал Маралов и ничего не смог ответить на этот вопрос. Надо отвлечься — заняться работой. Работа, слава Богу, была — отвечать на письма трудящихся в журнал «Вопросы методологии», где Маралов, чтоб не чувствовать себя окончательным пенсионером, сидел на договоре. Стопка нераспечатанных писем как раз ждала на столе, Маралов наугад взял конверт, исписанный косым детским почерком, и вскрыл.

«Дорогая редакция! — прочитал он. — Я очень люблю ваш журнал и все время его читаю. Особенно мне понравилась статья Н. Сколповского о мертвых космонавтах. Сейчас я закончил десятый класс и все думаю — зачем я живу на свете? И не понимаю. Пожалуйста, ответьте мне на этот вопрос. Коля М. г. Сестрорецк».

«Нормально, — прикинул Маралов, — и всегда уместно. Напутственное слово канает в любой номер. Допустим, одна колонка — это страницы полторы… Главное — без официоза, интимно».

Маралов сел за машинку и вставил в нее чистый лист.

«Меня, признаться, надолго заставило задуматься твое письмо, Николай. Ты, судя по тому, что сообщаешь о себе, еще очень молод — а уже чувствуется в твоем тоне какая-то усталость, расхоложенность — и это пугает. Может быть, это мне показалось — тогда извини. Теперь по существу твоего письма. Видно, что ты всерьез размышляешь над жизнью, задавая себе вопрос, над которым бились лучшие умы человечества. К сожалению, здесь вряд ли существует простой и однозначный ответ (хотя его и пытались в свое время дать многие религиозные и философские учения). Может быть, человек отвечает на этот вопрос всей своей жизнью и только в самом ее конце начинает понимать, зачем он жил и какой в этом смысл… Для чего же мы все-таки живем? Да для того, чтобы каждое утро радоваться свежему дыханию утра…»

«Нет, так не пойдет, — подумал Маралов, — как это так: „каждое утро радоваться дыханию утра…“ Некрасиво».

«…свежему дыханию ветра, солнцу, прекрасным человеческим лицам, своему делу, которое обязательно должно приносить радость. Мы живем для того, чтобы по вечерам смотреть на звезды в темном небе и думать о той безмерности, крохотной частичкой которой мы являемся, мы живем для того, чтобы любить и быть любимыми, чтобы быть счастливыми и дарить счастье другим. Мы живем для того, чтобы разгадывать тайны Вселенной и оставлять знания нашим детям, для того, чтобы…»

— Достучу после «Времени», — решил Маралов.

6

— …Обращая внимания на дождик пополам со снегом, сходятся к центру города. Бодрое, хорошее сегодня у людей настроение. День добрый! — мглистым ноябрьским вечером говорило на кухне радио.

«Ну и дался же им этот ухряб», — с тоской подумал Маралов.

Окончательно он вот так ощущал свое положение: стоит на нижнем ухрябе, а сверху, плитою пресса, медленно спускается другой ухряб, сам Маралов жив до сих пор только потому, что не соглашается признать себя ухрябом, хоть и понимает, что это нечестно.

— В таких ситуациях не нужно бояться взглянуть правде в глаза. И конечно, нужно помнить все хорошее, что было. Об этом и поет группа «Дюран Дюран», заключило радио.

— Ухряб ухряб! — крикнул Маралов, вскакивая с табуретки и кидаясь к репродуктору. — Ухряб! Ухряб!

Заткнувшись наконец, репродуктор повис на одном гвозде. Маралов перевел дух. Самым главным для продолжения существования было сохранить баланс между верхним и нижним ухрябом, или, может быть, — между внешним и внутренним. Ухряб, заключенный в словах из радио, чуть было не нарушил этого равновесия — но от страха, в момент балансирования на самом краю распада, сознание Маралова мгновенно выработало простой и ясный план.

Дело было в том, что ухряб хоть и поглотил весь видимый мир, но еще не выявил своей подлинной сущности. А у Маралова давно уже возникло основанное на некоторых мелких наблюдениях подозрение, что никакого ухряба никогда и не было, — на самом деле существовало нечто другое, и тот момент когда оно ворвалось к нему в душу, оно проделало в ней дыру, из которой весь Маралов вытек бы, как молоко из бракованного пакета, не заткни он брешь. Ухряб — это было, во-первых, звуковое, во-вторых — буквенное и в-третьих — смысловое сочетание, служившее для закрывания дыры. (Борт «Титаника», пропоротый айсбергом, и всякая дрянь, затыкающая пробоину, в машинном отделении ухряб — это промаслення ветошь, в пассажирском — постельное белье, смокинги и платья, и так далее.) «Ухряб — не что иное, как символ, конкретный, отдельно взятый символ, — думал Маралов, надевая пальто и закутывая горло шарфом цвета хозяйственного мыла. — И вскрыть его надо с помощью самого этого символа, то есть ухряба. Да и исторический опыт свидетельствует, что один ухряб уничтожается с помощью другого, создаваемого на его месте».

— Сейчас узнаем, — шептал Маралов, запирая квартирную дверь и спускаясь к лифту, — сейчас узнаем, что там прячется…

Маралов знал, что там прячется нечто нестерпимое, нечто такое, присутствия чего он не мог вынести даже секунды, — и теперь он собирался зайти к этой нестерпимости как бы со спины, поглядеть на нее хоть одним глазом.

7

Такси остановилось скоро. Маралов сел на переднее сидение, поглядел на шофера и даже вздрогнул от отвращения: у того между усов шевелилися нежно-розовый раздвоенный ухряб. Зашевелившись, он растянулся сразу во все стороны, за ним мелькнуло что-то влажное, и Маралов услышал:

— Далеко?

— Ухряб, — тихо ответил Маралов, как и предусматривал его план.

— Тут рядом, — сказал водитель, — понятие растяжимое. Где — тут рядом?

— Ухряб, — произнес Маралов с чуть другой интонацией.

— Прямо… — задумался водитель, — до самого конца?

— Ухряб! — испуганно выпалил Маралов. Слова таксиста его смутили.

— Угу так угу, — пробормотал водитель. — Вот только кричать не надо. — Он явно обиделся.

Улица понеслась навстречу — улица для водителя, а для Маралова — известно что: имевшее по бокам отдельные вертикальные ухрябы серого цвета, на которых горели другие — желтые и квадратные.

8

— Тут? — недружелюбно спросил водитель.

Маралов поглядел вперед. Перед ним был словно конец города — асфальтовая дорога, поднимаясь, упиралась в сугроб, за которым, по всему чувствовалось, ее уже не было — там начинался уклон в другую сторону, и из-за снежного гребня торчали только хилые верхушки деревьев.

Маралов молча протянул водителю пятерку. Тот, не включая света, начал монотонно шуршать бумажками — при этом контур его головы сливался с подголовником сиденья, а из радио неслись какие-то жуткие завывания. Маралов испугался — вдруг таксист ограбит? Но тут же почувствовал, что его испуг совсем не настоящий и не страшный по сравнению с тем, как он сам может сейчас напугать таксиста.

— Да ты не ищи, голубок, Бог с ним, — вкрадчиво сказал он. — Ты послушай-ка лучше, что я тебе расскажу…

Когда крик таксиста стих где-то за домами, Маралов вылез из машины и пошел вперед, прямо по снежным заносам. Деревья, ударив ветвями по лицу, пропустили — Маралов даже не стал нагибаться за сбитой с головы шляпой. Впереди лежало поле, покрытое заснеженными буграми и ямами, а с ближайшего бугра на него глядел ухряб в виде небольшой собаки.

— Иду! — Маралов помахал ей рукой. — Сейчас…

Каким-то образом он чувствовал, что постепенно приближается к тайне, спрятанной за странным словом. Проваливаясь в снег, он шел вперед, и эта уверенность росла. Собака увязалась за ним, привлеченная решительностью его походки. Увиденное и понятое давней пьяной ночью начинало закипать в душе, как вода в кастрюле, а понятие «ухряб» стало как бы крышкой — подняв ее, можно было все мгновенно осознать, если, конечно, не бояться возможных ожогов.

Размашисто шагая по рытвинам и не обращая никакого внимания на забившийся в ботинки снег, Маралов начал размышлять о возможном смысле слова. С такой точки зрения он никогда раньше не рассматривал проблему, и сама новизна и легкость, с которой ему думалось об ухрябе, свидетельствовала о близости разгадки. «Ухряб», — раскладывал Маралов, — «хребет» и «ухаб», наверное, так. Или …»

«Или» уже не понадобилось. Маралов увидел ухряб сам по себе. Разумеется, все остальное — небо, снег, деревья — тоже было ухрябом, но как бы скрытым, принявшим другую форму, — а здесь был ухряб-сырец, находящийся в своем изначальном виде — это была длинная заснеженная яма с двумя довольно высокими, в половину мараловского роста, обледенелыми хребтами по краям.

Уже зная, что делать, Маралов побежал вперед, по дороге расстегивая пальто, стряхивая с ног ботинки и заливистым смехом отвечая на сумасшедший лай вертящейся под ногами собаки. Расстояние было небольшим — и было в этой пробежке что-то от последних шагов олимпийского факельщика перед огромной факельной чашей: чем она ближе, тем торжественней и медленней шаг, тем неизбежней самое главное. Маралову пригрезились все бесконечные трамваи, автобусы и электрички, самолеты и прогулочные катера, привезшие его сюда, вся обувь, изношенная на пути к этому месту, все возникавшие когда-то мысли по поводу того, как удобней и комфортабельнее достичь этой временной и пространственной точки, все те разумные и серьезные объяснения происходящего, которые нормальный взрослый человек наклеивает на каждый поворот своей жизни, словом, вспомнилось очень многое.

— У-у-у-х-р-я-я-я-я-б! — подняв лицо к небу, закричал Маралов.

А затем решительно, с размаху, повалилися в яму и, как сбрасывают покрывало с памятника, отбросил ненужное большое слово, приготовясь увидеть то, что за ним.

9

Нашли его через два дня — лыжники, по торчащему из снега красному носку.